



М. А. БАКУНИН

Письмо А. И. Герцену и Н. П. Огарёву

<Фрагмент>

19 июля 1866. Ischia

Друзья, Герцен и Огарев. Пользуюсь отъездом княгини Оболенской, моего и вашего друга, чтобы поговорить с вами подробно и откровенно. <...>

Теперь же обратимся к нашим делам. Вы упрекали меня в бездействии в то время, как я был деятельнее, чем когда-нибудь: я говорю об этих трех последних годах. Единым предметом моей деятельности было основание и устройство интернационального революционно-социалистического тайного общества. Зная наперед, что вы, по темпераменту своему и вследствие настоящего направления вашей деятельности, к нему приступить не можете, но, с другой стороны, имея в крепость и в честность ваших характеров веру безусловную, посылаю вам, в особенном запечатанном пакете, который вам передаст княгиня, полную программу: изложение начал и организации общества. Оставив в стороне литературные несовершенства этого труда, обратите внимание только на суть дела. Вы найдете много лишних подробностей, но вспомните, что писал я посреди итальянцев, которым, увы, социальные идеи были почти совсем неизвестны. Особенную борьбу приходилось мне выдержать против так называемых национальных страстей и идей, против отвратительнейшей патриотической буржуазной риторики, раздуваемой весьма сильно Мацини и Гарибальди. После трехгодовой трудной работы, я добился до положительных результатов. Есть у нас друзья в Швеции, в Норвегии, в Дании; есть в Англии, в Бельгии, во Франции, в Испании и в Италии, есть поляки, есть даже и несколько русских. В южной

Италии большая часть Мациновских организаций, Falangia Sacra¹ перешла в наши руки. Прилагаю тут же короткую программу нашей итальянской национальной организации. В одном послании к своим друзьям в Неаполе и в Сицилии, Мацини сделал на меня формальный донос, называя, впрочем, меня *il mio illustre amico*² Michele Vakunin, донос для меня довольно неудобный, потому что, так как в фалангах Мацини, особливо в Сицилии, много правительственных агентов, он мог серьезно компрометировать меня. К счастью моему, правительство здесь социального движения еще не понимает и потому не боится и доказывает тем свою немалую глупость, потому что после полнейшего кораблекрушения всех других партий, идей и мотивов в Италии осталась только одна живая возможная сила: социальная революция. Весь народ, особливо в южной Италии, массами валит к нам, и бедность наша не в материале а в числе *образованных* людей, искренних и способных дать форму этому материалу. Труда много, препятствие тьма, отсутствие денежных средств ужасно — и несмотря на все, несмотря даже на сильную военную диверсию, мы несколько не унываем, не теряем терпения, терпения же надо много, и хотя медленно, но действительно каждый день подвигаемся вперед. Этого будет достаточно, чтоб объяснить вам, чем я был занят в продолжении трех лет. Согласный с вами в том, что для успеха дела надо огородить его от всего постороннего и лишнего и предаться ему исключительно, я занимался только им и абстрагировал себя от всего прочего. Таким образом я разошелся с вами, если не в цели, так в методе — а вы знаете: *la forme entraine toujours le fond avec elle*...³ Ваш настоящий путь мне стал непонятен, полемизировать с вами мне не хотелось, а согласиться не мог. Я просто не понимаю ваших писем к государю, ни цели, ни пользы, — вижу в них, напротив, тот вред, что они могут породить в неопытных умах мысль, что от государства вообще, и особенно от Всероссийского Государства и от представляющего его правительства и государя можно ожидать еще чего-нибудь доброго для народа. По моему убеждению, напротив, делая пакости, гадости, зло, они делают свое дело. Вы научились от английских вигов презирать логику, а я ее уважаю, — и позволю себе вам напомнить, что тут дело идет не о логике произвольной лица, но о логике фактов, самой действительности. Читая ваши послания к Александру II, должно думать, что вы верите в возможность исправить его, — а я, напротив, думаю, что если бы нас с вами

посадили на его место и продержали бы на нем год, два, мы сделались бы такими же скотами, как и он. Вы утверждаете, что правительство, так как оно было поставлено, могло сделать чудеса «по плюсу и по минусу» («Колокол» 15 дек. 65, стр. 1718), а я убежден, что оно сильно только в минусе и что никакой плюс для него недоступен. Вы упрекаете своих бывших друзей, нынешних государственных патриотов, в том, что они сделались доносчиками и палачами. Мне ж, напротив, кажется, что кто хочет сохранения всецелости Империи, должен стать смело на сторону Муравьева, который является мне доблестным представителем, Сен-Жюстом и Робеспьером Всероссийской Государственности, и что хотеть сохранения интегритета и не хотеть муравьевщины было бы непростительным слабодушием. У декабристов было в обеих разделявших их партиях более логики и более решимости: Якушкин хотел зарезать Александра Павловича за то только, что тот смел подумать о воссоединении Литвы с Польшею. Пестель же смело провозглашал разрушение Империи, вольную федерацию и социальную революцию. Он был смелее вас, потому что не оробел перед яростными криками друзей и товарищей по заговору, благородных, но слепых членов северной организации. Вы же испугались и отступились перед искусственным, подкупленным воплем московских и петербургских журналистов, поддерживаемых гнусною массою плантаторов и нравственно обанкротившимся большинством учеников Белинского и Грановского, твоих учеников, Герцен, большинством старой гуманно-эстетизирующей братии, книжный идеализм которой не выдержал, увы, напора грязной, казенной русской действительности. Ты оказался слаб, Герцен, перед этой изменой, котирую твой светлый пронизательный, строго-логический ум непременно предвидел бы, если б не затемнила его сердечная слабость. Ты до сих пор не можешь справиться с нею, забыться, утешиться. В твоём голосе слышится до сих пор оскорбленная, раздраженная грусть... ты все говоришь с ними, усовециваешь их, точно также как усовециваешь императора, вместо того чтоб плюнуть один раз навсегда на всю свою старую публику и, обернувшись к ней спиною, обратиться к публике новой, молодой, едино-способной понять тебя искренно, широко и с волею дела. Таким образом, ты от излишней нежности ко своим многогрешным старикам изменяешь своему долгу. Ты только занимаешься ими, говоришь, уменьшаешь себя для них, и утешая себя мыслью,

«что худшее время мы пережили и что скоро на ваш звон снова явятся блудные дети ваши с седыми волосами и совсем без волос из патриотического стада»... (1-го декабря, стр. 1710), а ты до тех пор, ради успеха практической пропаганды», обрекаешь себя на трудную, неблагодарную обязанность «быть по плечу своему (печальному) хору, всегда шагом вперед, и никогда двумя». Я право не понимаю, что значит идти одним шагом впереди перед поклонниками Каткова, Скарятина, Муравьева, — даже перед сторонниками Милютиных, Самариных, Аксаковых? Мне, кажется, что между тобой или ими разница не только количественная; но качественная, что между вами ничего общего нет и быть не должно. Они, прежде всего, оставив в стороне их личные и сословные интересы, могущество которых тянет их, впрочем, неотразимо в противный вам лагерь, — они патриоты государственники, ты социалист, поэтому, ради последовательности, должен быть врагом вообще всякого государства, несовместного с действительным, вольным, широким развитием социальных интересов народов. Они, кроме себя и своих интересов, готовы пожертвовать всем, и человечеством, и правдою, и правом, и волею и благосостоянием народа для поддержания, для подкрепления и для расширения государственной силы, — ты, как искренний социалист, без сомнения готов жертвовать и жизнью и состоянием для разрушения того же самого государства, существование которого несовместимо ни с волею, ни с благосостоянием народа. Или ты социалист-государственник, готовый помириться с самую гнусною и опасною ложью, порожденною нашим веком: с казенным демократизмом, с красным бюрократизмом? Ты нигде этого не высказываешь ясно, можно даже найти в твоих статьях много междусловий и метких замечаний, прямо отрицающих государственность вообще, но в то же самое время ты говоришь о чудесах, которые правительство могло совершить по плюсу, об «императоре, который, отрекаясь от Петровщины, совместит в себе, может быть, царя и Стеньку Разина». Герцен, ведь это нелепость, и я не понимаю, право, как она могла образоваться в твоей голове, вырваться из нее и лечь под твое перо! Ты скажешь, пожалуй, что я сам говорил тоже самое в брошюре «Народное дело». — Ну, не совсем то же самое. Не желая выступать революционно, в *противность вам*, — а вы помните, сколько у меня было с вами горячих споров, — я обратился тогда к царю с другою целью, с другою потаенною мыслью: я и тогда, как и теперь был вполне

убежден в несовместимости его с нашею программю «Земли и воли» и за отсутствием возможности выставить эту несообразность положительным образом, стремился высказать ее отрицательно. Предлагая Александру Николаевичу сделаться народным, земским царем посредством уничтожения всех сословий, военной, церковной и гражданской бюрократии и всякой государственной централизации посредством присвоения земли и безграничной воли народу, и отпущения на волю всех областей, не желающих связи с великорусскими областями, я *сознательно* призывал царя к разрушению собственными руками империи, к политическому самоубийству, и никогда мне в голову не приходило, чтобы он мог согласиться на такой безумный, с его точки зрения, поступок. <...> Каюсь и вполне сознаю, что никогда не следовало отступать ни содержанием, ни формою от определенной и ясной социальной революционной программы. Знаю, вам ненавистно слово «революция», но что ж делать, друзья, без революции ни для вас, ни для кого нет ни шагу вперед. Вы во имя вящей практической составили себе невозможную теорию о перевороте социальном без политического переворота, теория столь же невозможная в настоящее время, как революция политическая без социальной; оба переворота идут рука об руку и в сущности составляют одно. Вы все готовы простить государству, пожалуй, готовы поддерживать его, если не прямо, — было бы слишком стыдно, — так косвенно, лишь бы оно оставило неприкосновенным ваше мистическое святая святых: великорусскую общину, от которой *мистически*, — не рассердитесь за обидное, но верное слово, — да, с мистическою верою и теоретическою страстью вы ждете спасения не только для великорусского народа, но и для всех славянских земель, для Европы, для мира. А, кстати, скажите, отчего вы, уединенные гордецы никем не понятой и не принятой теории о таинственном свете и мочи скрывающихся в глубине русской общины, не соблаговолили отвечать серьезно и ясно на серьезный упрек, сделанный вам вашим приятелем: Вы выбиваетесь из сил, пишет вам этот друг... вы воображаете, что развитие пойдет мирным путем, а оно *мирным путем не пойдет*; пожалуй вы еще надеетесь в этот несчастный одиннадцатый час на правительство, а оно *может делать только вред*; вы *запнулись за русскую избу, которая сама запнулась да и стоит века в китайской неподвижности со своим правом на землю*. Почему не разовьете вы в своем «Колоколе» этого важного, решительного для вашей те-

ории вопроса: почему эта община, от которой вы ожидаете таких чудес в будущем, в продолжении 10 веков прошедшего существования не произвела из себя ничего, кроме самого печального и гнусного рабства? — безобразное принижение женщины, абсолютное отрицание и непонимание женского права и женской чести и апатическая равнодушная готовность отдать ее, службы целого мира ради, под первого чиновника, под первого офицера. Гнусная гнилость и совершенное бесправие патриархального деспотизма и патриархальных обычаев, бесправие лица перед миром и всеподавляющая тягость этого мира, убивающая всякую возможность индивидуальной инициативы, — отсутствие права не только юридического, но простой справедливости в решениях того же мира — и жесткая злостная бесцеремонность его отношений к каждому бессильному или небогатому члену; его систематическая злорадная, жестокая притеснительность в отношении к тем лицам, в которых появляются притязания на малейшую самостоятельность, — и готовность продать всякое право и всякую правду за ведро водки — вот, во всецелости ее настоящего характера, великорусская крестьянская община. Прибавьте к этому мгновенное обращение всякого выборного крестьянина в притеснителя чиновника-взяточника — и картина будет полная, — полная для всякой общины мирно и покорно живущей под сенью всероссийского государства. Есть, правда, другая сторона: бунтовская, Стеньки-Разиновская, Пугачевская, раскольничья — единственная сторона, от которой должно, по моему мнению, ждать морализации и спасения для русского народа. Ну, да это сторона уж не мирно развивающаяся, не государственная, а чисто революционная, революционная даже и тогда, когда она пробуждается с призывом царского имени. Обок со страшными недостатками, мною исчисленными, вы находите в великорусской общине две добродетели, два преимущества, одно чисто отрицательное: отсутствие римского и всякого юридического права, замененного в великорусском народе неопределенным и в отношении собственно к лицам крайне бесцеремонным и даже совершенно отрицающим правом; другое, пожалуй, положительное, хотя и весьма темное инстинктивное понятие народа о праве каждого крестьянина на землю — понятие, которое, если разобрать его строго, отнюдь не утверждает права всего народа на всю землю и чуть ли не заключает в себе другого весьма печального понятия, присваивающего всю землю государству и государю —

мне ли объяснять вам, какая огромная разница между этими двумя положениями:

Земля принадлежит народу

Земля принадлежит государю?

Вследствие последнего, государь дарит пустыне, а прежде дарил и населенные земли своим генералам, — гонит целые общины с одной земли на другую, не возбуждая ропота в народе, лишь дали бы ему какую-нибудь землю. — «Земля наша, а мы государевы» — с этим понятием, друзья мои, русский народ уйдет не далеко. Да и в самом деле, все преимущества, находимые вами в великорусской общине существовали издавна, а до сих пор ничего не выработали из себя, кроме рабства, да гнили, да еще отрицания всего государственного устройства, московско-петровского мира в расколе, в казачестве, да в крестьянском бунте. — Община наша не имела даже и внутреннего развития, она теперь та же, что и тому назад пять сот лет, — а если в ней, благодаря напору государственности, стало заметно подобие внутреннего процесса, так это процессы разложения, — всякий мужик побогаче, да посильнее других стремится теперь всеми силами вырваться из общины, которая его теснит и душит. Откуда же эта неподвижность и непроизводительность русской общины? Оттого ли, что в ней самой нет начал развития и движения? Да, пожалуй, и так. В ней нет свободы, а без свободы, вестимо, никакое общественное движение немислимо. Что ж мешает пробуждению свободы? Государство: московское государство, которое убило в русском мире все живые зачатки народного просвещения, развития и преуспения, зацветшие, было, в Новгороде, потом в Киеве; которое погубило их вторично подавлением казачества и раскола, — петровское государство, которое, как вам известно, все построено на радикальном отрицании народной самостоятельности и народной жизни, и которое, кроме внешней, механической связи притеснителя и эксплуататора к своей жертве, не имея ничего общего с народом, переродиться в народное государственное устройство не может; бюрократическое и военное не случайно, а целым существом своим, пока оно существовать будет, оно в видах самосохранения непременно будет требовать от народа все более солдат и денег, и так как ни один народ не дает ни того, ни другого охотно, все более будет теснить и разорять его. В этом его единственный способ жизни, а вследствие того и единственное назначение. Формы или вернее

этикетки нашего государства могут измениться, но сущность его неизменна.

Государь, государство, кроме зла ничему народу не делали и сделать не могут. — Да как же, возразите вы, разве государь не освободил крестьян? — В том то и дело, что не освободил. Мне ли вам говорить и доказывать, что освобождение было мнимое. Это было, ввиду грозивших смут и опасностей, ничто иное, как перемена методы и системы в деле народного притеснения; помещичьи крестьяне превращены в государственных. Место чиновника-помещика заняла теперь чиновник-община, а над общиной все казенное чиновничество; наместо помещика, община сделалась теперь в руках государства слепым, послушным орудием для управления крестьянами. Воли у крестьян также мало, как и прежде, ни один пошевелиться без паспорта не может, а паспорта выдает отвечающая за них перед лицом правительства община. Круговая порука хороша и действует благодатно там, где есть воля, она пагубна, при нашем государственном устройстве. И так нет и, пока продлится существование государства, крестьянской воли не будет. Нет и признания крестьянского права на землю. Если земля крестьянская, так зачем же выкуп — и какой еще выкуп! Разоривший крестьян, принужденных идти по целой России брать худшую землю за хорошие деньги. Эх, друзья, есть у нас символы, этикетки, а реальных предметов, выражаемых ими нет и, пока мы будем управляться царем, не будет. В чем же вы видите движение вперед, в чем сущность правительственного подарка крестьянам? Разве только в дешевизне вина, позволяющей бедному народу, женщинам, детям упиваться с горя. Хорошо движение, не пробудившее в нашем умном, живом народе ничего, кроме всенародного пьянства. «...Наша груша зреет не по дням, а по часам», — говорите вы, — пожалуй и зреет, но не благодаря государству и не на радость ему, а пока она не созреет, в России будет только одна действительность: всеподавляющее, всепоглощающее, всеразвращающее государство. Как же вы после этого говорите, «что правильной реакции у нас быть не может, что в ней нет действительной необходимости и что так как реакция бессмысленна, то она и должна утратить тот бессмысленный характер, в котором она является у нас». (15 дек. 1865, стр. 1718). Напротив, мне кажется, что со времени основания московского государства, после убийства народной жизни в Новгороде и в Киеве, после подавления Стеньки-Разинского

и Пугачевского бунта, в нашем несчастном и опозоренном отечестве правильна и действительна только одна реакция: — то что в истории других европейских стран было только перемежающимся фактом, то у нас составляет факт непрерывный и беспрерывный: то есть отрицание всего человеческого, жизни, права, воли каждого человека и целых народов во имя и в единую пользу государства. Разве восторжествовавшее царство штыка и кнута и покорение всякой народной жизни под ним не есть правильная, действительная, необходимая и вместе с тем самая страшная реакция, когда-либо существовавшая в мире? И вы от этой систематической и, повторяю еще раз, совершенно необходимой реакции ждете чудес по психозу? и вы печатно предполагаете возможность такого императора, который, отрекшись от петровщины, совместил бы в себе царя и Стеньку Разина? Любезные друзья, я не менее вас решительный социалист, но именно потому что я социалист, я решительно не допускаю совместимости социального преуспеяния России и развития тех зародышей, которые вот уже скоро тысячу лет действительно таятся в недрах русского крестьянского общества с дальнейшим существованием всероссийского государства, — и думаю, что первая обязанность нас русских изгнанцев, принужденных жить и действовать за границей, — это провозглашать *громко необходимость разрушения этой гнусной империи*. Это должно быть первым словом нашей программы. Такое провозглашение было бы непрактично, скажете вы... Против нас подымется всероссийская помещицья, литературная, официальная буря. Будут ругать, — тем лучше; теперь о нас все замолчали и равнодушно обернулись к нам спиной — это хуже. Царь перестанет читать твои письма, — беды нет, ты перестанешь писать их, — выигрыш ясный. Старые лысые друзья от тебя окончательно оттолкнутся и потеряется всякая надежда на их исправление, — что ж, разве ты действительно веришь, Герцен, в возможность и в пользу их исправления? Мне кажется, что между тобою и ими, даже в лучшее время, существовало всегда большое недоразумение. <...> Поверь мне, Герцен, твоя пресловутая «перемена фронта», которою ты так гордился и которым хотел доказать нам, «абстрактным революционерам» твое практическое и тактическое умение, была огромным промахом. Твоя уступка развратному, только мнимо-единодушному дворяно-литературному мнению в России, разъярившемуся злобою во имя интегритета империи, по случаю польского вопро-

са, была бы ошибкою даже и тогда, если весь Великорусский народ участвовал бы в этом мнении. Разве правда и право перестают быть правдою и правом потому только, что целый народ становится против них? Бывают моменты в истории, когда люди и партии, сильные тем принципом, тою истиною, которая живет в них, должны для блага общего и для сохранения своей собственной чести иметь мужество остаться одни, в уверенности, что истина притянет к ним рано или поздно, не старых и лысых ренегатов, возвращение которых совершается всегда, в ущерб делу, а новые, свежие массы. Ведь истина не абстрактна и не продукт личного произвола, а только наиболее логичное выражение тех начал, которые живут и действуют в массах. Массы иногда по близорукости и невежеству увлекаются в сторону от столбовой дороги, ведущей прямо к их цели и нередко становятся в руках правительства и привилегированных классов орудием для достижения целей, решительно противных их существенным интересам. Что ж, неужели люди, знающие, в чем дело, знающее, куда надо и куда не надо идти, должны ради популярности увлекаться и врать вместе с ними? В этом ли состоит ваша пресловутая практичность? <...> Вы приняли литературно-помещичий вопль за выражение народного чувства и оробели — оттуда перемена фронта, кокетничанье с лысыми друзьями-изменниками и новые послания к государю... и статьи, вроде 1-го Мая нынешнего года, — статьи, которой я ни за что в мире не согласился бы подписать; ни за что в мире я не бросил бы в Каракозова камня и не назвал бы его печатно «фанатиком или озлобленным человеком из дворян», в то самое время, когда вся подлая лакейская дворяно- и литературно-чиновничья Русь его ругает и, ругая его, надеется выслужиться перед царем и начальством, — в то время как в Москве и в Петербурге наши лысые друзья с восторгом говорят: «Ну, уж Михаил Николаевич его пытнёт», и когда он выносит все Муравьевские истязания с изумительным мужеством. Ни в каком случае мы здесь не имеем права судить его, ничего не зная о нем, ни о причинах, побудивших его к известному поступку. Я также, как и ты, не ожидаю ни малейшей пользы от цареубийства в России, готов даже согласиться, что оно положительно вредно, возбуждая в пользу царя временную реакцию, но не удивляюсь отнюдь, что не все разделяют это мнение и что под тягостью настоящего, невыносимого, говорят, положения, нашелся человек менее философски развитой, но зато и более

энергичный, чем мы, который подумал, что гордиев узел можно разрезать одним ударом, и я искренно уважаю его за то, что он подумал так и совершил свое дело. Несмотря на теоретический промах его, мы не можем отказать ему в своем уважении и должны признать его «нашим» перед гнусной толпой лакействующих царепоклонников. В противность сему ты в той же статье восхваляешь «необыкновенное» присутствие духа молодого крестьянина, редкую быстроту соображения и ловкость его. Любезный Герцен, ведь это из рук вон плохо, на тебя не похоже, смешно и нелепо. Что ж необыкновенного и редкого в действии человека, который, видя как другой человек подымает руку на третьего, хватает его за руку или ударяет по ней; ведь это сделал бы всякий, старик, также как и молодой, царененавистник, для которого, напр., как для меня, жизнь царя решительно ничем не «застрахована» и, напротив, осуждена за неповинную польскую и русскую кровь, пролитую по его приказанию, так же, как и самый ревностный царепоклонник. Это сделал бы всякий без мысли, без цели, а механически, инстинктивно, с быстротою и ловкостью всякого инстинктивного движения... Твое выражение: «озлобленный человек из дворян» напоминает мне любимое выражение оправославившегося Гоголя, который в последнее время своей жизни называл нас всех «огорченными», — а во-вторых, твое выражение двусмысленно: можно подумать, что ты считаешь его озлобленным против царя за то, что он освободил крестьян? В действительности же он стрелял в него потому, что он обманул крестьян. Это явствует из первых слов произнесенных Каракозовым по совершении акта. А ты в той же статье еще сердисься на царя за то, что он возведением Комисарова в дворянское достоинство, будто бы исказил смысл урока, данного нам историею. В чем же состоит по-твоему смысл исторического урока? Догадаться не трудно: Рылеевы, Трубецкие, Волконские, Петрашевские, Каракозовы непримиримые враги императорства, — все из дворян. Сусанины, Мартьяновы, Комисаровы, — поборники и спасители самодержавья — все из народа. Ты же, продолжая свою роль непризванного и непризнанного советника и пестуна всего царского дома, не исключая даже и шалунов Лейхтенбергских, ты упрекаешь Александра Николаевича в том, что он унижает преданное ему крестьянство перед враждебным ему дворянством. А ведь что ни говори, Герцен, Александр Николаевич, руководимый чувством самосохранения, лучше понимает смысл

государственно русской истории, чем ты: он чувствует, а может быть и видит ясно, что приверженность нашего народа к царю точно также основана на недоразумении, как на недоразумении основано у нас фрондерское либеральничанье дворянского класса, и что по существу своих интересов и по тем же причинам народ должен быть врагом, а дворянство неизменным союзником царской власти, пагубной для народа и едино спасительной для дворянства. Это сознание овладевает теперь, видимо, целым классом дворянства. Будем надеяться, что по мере того, как дворянство, повинувшись несомненной необходимости вытекающей из всех интересов его, будет сближаться с царем, народ будет от него удаляться и поймет наконец, что между его благоденствием и властью царя, государства, существованием империи, нет возможного примирения. Объяснить это ему всеми средствами — дело наших друзей, живущих и действующих в России, — а показать единственный путь свободы и общего спасения нашим друзьям — наше дело.

Пора резюмироваться: — не подлежит сомнению, что ваша пропаганда в настоящее время не пользуется даже и десятою долею того влияния, которое она имела четыре года тому назад. Звоны вашего «Колокола» раздаются и теряются ныне в пустыне, не обращая на себя почти ничего внимания.. Значит, что он звонит по-пустому и благовестит не то, что следует. Вам остается два выхода: или его прекратить, или дать ему направление иное. Вам надо решиться. В чем же должно состоять новое направление? А прежде всего определить, к кому вы должны обращаться? Где ваша публика? Народ не читает, следовательно, вам действовать прямо на народ из заграницы невозможно. Вы должны руководить тех, которые положением своим призваны действовать на народ, именно тех, которых вы своими практическими уступками и своим обращением то к правительству, то к лысым друзьям-изменникам систематически от себя удаляли. И, прежде всего, вы должны отказаться от всякого притязания, надежды и намерения влиять на настоящий ход дел, на государя, на правительство. Там вас никто не слушает, пожалуй, над вами смеются, там все знают, куда они идут и чего им надо, знают также, что Всероссийское государство кроме Петербургских целей и средств, другими существовать не может. Обращаясь к этому миру, вы только теряете драгоценное время и компрометируетесь по-пустому. Ищите публики новой, в молодежи, в недоученных учениках

Чернышевского и Добролюбова, в Базаровых, в нигилистах — в них жизнь, в них энергия, в них честная и сильная воля. Только не кормите их полусветом, полу-истиною, недомолвками. Да, встаньте опять на кафедру и, отказавшись от мнимой и, право, бессмысленной тактичности, валяйте всё, что сами думаете, сплеча и не заботьтесь больше о том, сколькими шагами вы опередили свою публику. Не бойтесь, она от вас не отстанет и в случае нужды, когда вы будете уставать, подтолкнет вас вперед. *Эта* публика сильна, молода, энергична, — ей надо полного света и не испугаете вы ее никакою истиною. Проповедуйте вы ей практическую осмотрительность, осторожность, но давайте ей всю истину, дабы она при свете этой истины могла бы узнать, куда идти и куда вести народ. Развяжите себя, освободите себя от старческой боязни и от старческих соображений, от всех фланговых движений, от тактики и от практики, перестаньте быть Эразмами, станьте Лютерами и возвратится к вам вместе с утраченной верою в дело и старое красноречие и старая сила, — и тогда, но только тогда, ваши старые блудные дети-изменники, познав вновь в вашем голосе голос начальника, возвратятся к вам с покаянием и горе вам, если вы согласитесь принять их.

Вот вам, друзья, мое полное мнение, а теперь судите меня, как хотите, и постарайтесь отвечать не каламбурами, ничего не доказывающими, а делом. <...>

Ваш М. Бакунин

<...> 12 августа.

Государственность и анархия. Борьба двух партий в Интернациональном обществе рабочих

<Фрагменты>

Прибавление А

<...> Наука, самая рациональная и глубокая, не может угадать формы будущей общественной жизни. Она может определить только *отрицательные* условия, логически вытекающие из строгой критики существующего общества. Таким образом, социально-экономическая наука при такой критике дошла до отрицания лично-